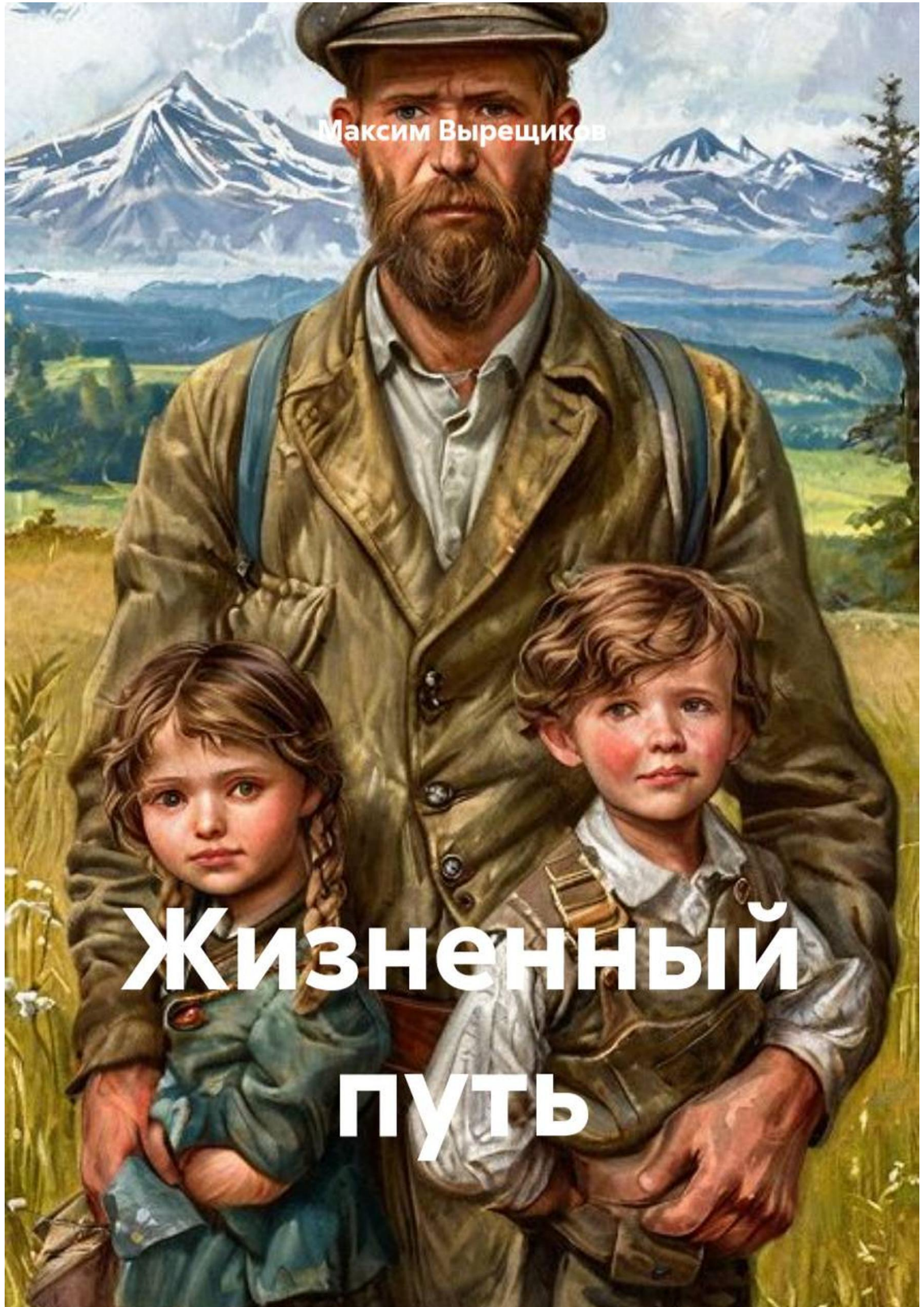


An oil painting depicting a man with a full brown beard and a flat cap, wearing a heavy olive-green coat with blue suspenders. He stands behind two children. On the left is a young girl with brown hair in two braids, wearing a green dress. On the right is a young boy with curly brown hair, wearing a light-colored shirt and a brown vest. They are all looking directly at the viewer with serious expressions. The background features a vast landscape with rolling green hills, a small evergreen tree on the right, and majestic snow-capped mountains under a blue sky with soft clouds. The overall style is realistic and evocative, typical of 19th-century landscape portraiture.

Максим Вырещиков

# Жизненный путь

Максим Вырещиков

**Жизненный путь**

«Автор»

2026

## **Вырещиков М.**

Жизненный путь / М. Вырещиков — «Автор», 2026

Историческая драма, повествующая о судьбе 42-летнего крестьянина Ивана Кузьмича Богачёва из брянской деревни Понебель в августе 1939 года. Столкнувшись с безземельем и отсутствием перспектив для своих четверых детей (Анастасии, Михаила, Анатолия и Нины), герой решает откликнуться на призыв вербовщика Дальстроя. Ради будущего семьи Иван соглашается на тяжелый переезд на Дальний Восток, принимая условие отправиться первым, чтобы обустроить жилье до приезда жены Евдокии и детей. Текст детально описывает момент прощания, внутреннюю борьбу героя между долгом перед семьей и необходимостью вырваться из нищеты, а также многодневное путешествие в теплушке через всю страну.

© Вырещиков М., 2026

© Автор, 2026

# Максим Вырещиков

## Жизненный путь

### Глава 1. Понебель

Август 1939 года выдался в деревне Понебель, затерянной среди густых брянских лесов, на удивление сухим и знойным. Солнце выжгло траву на косогорах до соломенной желтизны, а пыль на единственной улице стояла столбом от каждого порыва ветра, оседая серой пудрой на листьях старой березы у сельсовета. Воздух пах прелой хвоей, нагретым деревом и дымом из печных труб. Жизнь здесь текла медленно, подчиняясь вековым законам: рассвет — работа в поле, закат — тяжелый домашний быт.

Именно к этой березе, подпирая плечом шершавый ствол, прислонился Иван Кузьмич Богачёв. Ему было сорок два года, но выглядел он старше: глубокие морщины залегли у рта, спина уже начала сутулиться от вечного поклона земле, а руки, покрытые вьевшимся мазутом и мозолями, казались вытесанными из темного дерева. Он стоял не один. Вся деревня, от мала до велика, сбегалась сегодня к сельсовету.

Приезжий агитатор возвышался над толпой на сколоченном помосте. На нем был светлый парусиновый костюм, совершенно чуждый этому месту, и скрипучие хромовые сапоги. В руках он сжимал пачку плотных бумаг с гербовыми печатями Дальстроя. Голос его, привыкший перекрывать гул вокзалов и площадей, раскатисто летел над притихшими избами:

— Товарищи колхозники! Страна наша огромна и богата! Но богатства эти лежат мертвым грузом там, где кончается тайга и начинается Великий океан. Дальний Восток ждет рабочих рук! Золотые прииски, судостроительные верфи, новые города посреди дикого леса! Кто поедет строить новую жизнь? Государство дает подъемные, обеспечивает проезд в теплушках, выделяет лес на строительство дома и корову на обзаведение! Там нет нужды, там есть только простор для настоящего хозяина!

Иван Кузьмич слушал молча, скрестив натруженные руки на груди. Слова о золоте и просторе пролетали мимо, но фраза «новые города посреди дикого леса» зацепила что-то глубоко внутри. Брянщина была хороша, родная до боли в сердце, но она была тесной. Земли мало, наделы крошечные, разделенные межами так часто, что нигде развернуться ни плугу, ни душе. А главное — перспектив для детей не было. Старшая дочь Анастасия, восемнадцатилетняя красавица с тяжелой русой косой, уже второй год сидела в девках — женихи разъехались по стройкам страны. Пятнадцатилетний Михаил, крепкий, широкоплечий парень, маялся без настоящей мужской работы, помогая отцу лишь по мелочи. Анатолию было одиннадцать, смышленому, глазастому мальчишке, которому хотелось учиться дальше, чем три класса местной школы. И пятилетняя Нина, младшенькая, бледная после недавней весенней лихорадки, которой нужен был другой воздух.

Толпа постепенно редела. Бабы качали головами, мужики чесали затылки. Ехать в неизвестность, бросать родные могилы предков — на такое решались единицы.

Агитатор собирал бумаги, собираясь уезжать. Иван Кузьмич проводил взглядом его полуторку, поднявшую последнее облако пыли, и понял, что если сейчас уйдет, то будет жалеть об этом всю оставшуюся жизнь.

Он подошел к агитатору, который уже закуривал папиросу возле своей машины, когда тот остался один.

— Гражданин начальник, — голос Ивана Кузьмича был глухим, царапающим горло. — Я вот послушал... Думаю я. Поеду. Хочу работать. И остаться там хочу, насовсем.

Агитатор смерил его оценивающим взглядом бывалого кадровика. Хороший материал: плечи широкие, взгляд прямой, трезвый.

— Это дело хорошее, товарищ. Специалист какой?

— Да какой специалист, — усмехнулся Иван уголком рта. — Крестьянин. Топором работаю, как господь велел. Механик еще, немного. До армии на локомотиве ходил.

Глаза агитатора блеснули интересом. Механики на Колыме и в Приморье были на вес золота.

— Отлично, — кивнул он. — Подходишь. Оформляем путевку. Только одно условие, земляк. Сейчас едешь ты. Один.

Слово «один» ударило Ивана под дых. Он осунулся, словно из него разом выпустили весь воздух. Как же семья? Оставить Дуняшу одну с четырьмя детьми, со скотиной, с этим разорванным бытом? Куда она денется?

— Никак нельзя, — тихо сказал он, глядя в землю. — У меня ж четверо. Настя, Мишка, Толька и Нинка маленькая. Жена опять же...

Вербовщик сочувственно цокнул языком, но лицо его осталось непреклонным.

— Нельзя с семьей, Кузьмич. Сам посуди: места там пока дикие. Бараки общие, палатки. Тайга кругом, гнус, медведи. Работа тяжелая, валка леса, промывка породы. Женщине там делать нечего, заболит или с ума сойдет от страха. Детей угробишь. Мы людей туда везем работать, а не кладбище организовывать. Понял задачу?

Иван Кузьмич поник плечами. Надежда, вспыхнувшая минуту назад, готова была погаснуть. Картина того, как он оставляет плачущую жену и растерянных детей на перроне, показала ему невыносимой.

Но агитатор, видя его смятение, положил тяжелую руку ему на плечо:

— Ты пойми правильно. Поедешь, обустроишься. Зиму переживешь, землянку или барак приведешь в порядок, пайку начнешь получать полную. Напишешь им письмо, успокоишь. Деньги пришлешь. А весной, как подсохнет, продашь тут все хозяйство — коня, птицу, утварь. купишь билеты, и приедут они к тебе. К тому времени мы там школу поставим, фельдшерский пункт откроем. Приедут не на пустую поляну, а к хозяину. Мужик ты надежный, справишься быстро.

Логика в словах приезжего была железной, пугающе простой. Не бросить навсегда, а уехать первым, чтобы проложить тропу. Так испокон веков мужчины уходили на промыслы. Разница была лишь в том, что этот промысел длиною в жизнь.

— Хорошо, — выдохнул Иван, и слово застряло в пересохшем горле. — Я согласен.

Вербовщик довольно улыбнулся, достал из кожаной планшетки стопку бланков, чернильную ручку-самописку и химический карандаш.

— Вот здесь, напротив фамилии, разборчиво. И число сегодняшнее.

Иван неумело, цепляя бумагу загрубевшим пальцем, вывел свою фамилию. Чернила расплывались по плохой бумаге. Поставив последнюю точку, он отдал ручку обратно.

— Поздравляю, гражданин Богачёв, — официально произнес агитатор, пряча документы. — Через неделю сбор. Станция Клинцы, товарный парк. Будет состав, вагоны-теплушки, оборудованные нарами. С собой брать сухарей на десять дней, смену белья, ложку-кружку и топор. Остальное выдадим на месте. Не опаздывать.

— Хорошо, — эхом отозвался Иван.

Он пошел домой через деревню, не чувствуя ног. Пыль больше не обжигала ступни сквозь лапти. Мир вокруг стал одновременно огромным и суженным до одной точки впереди.

Крыльцо их избы жалобно скрипнуло под его весом. Дверь в сени была приоткрыта, оттуда тянуло запахом кислых щей и теплого хлеба. Иван остановился, упершись лбом в прохладную притолоку. Сердце колотилось где-то в самом горле. Одно дело — подписать бумагу с чужим человеком, пообещать золотые горы государству. Совсем другое — посмотреть в глаза

женщине, которая двадцать лет делила с тобой каждую краюху хлеба, каждое горе и каждую радость, и сказать, что завтра ее мир рухнет.

Из глубины сеней слышались легкие шаги. На пороге появилась Евдокия. В руках она держала подойник, с которого падали белые капли молока.

— Чего встал истуканом, Иван? Заходи, комары налетят. Обед стынет. Где был-то? Вид у тебя такой, будто покойника встретил.

Она говорила обыденно, буднично, продолжая перебирать в уме список дел на вечер: подоить Ночку, задать корм курам, проверить Нину. Она еще не знала, что список ее жизни только что сгорел дотла вместе с подписанным мужем договором.

Иван поднял голову. Посмотрел на жену, на родной порог, на старую икону в красном углу.

— Дуня, — начал он, и голос его дрогнул впервые за много лет. — Собери-ка всех. Разговор у нас будет серьезный. О переезде. Далеком. Очень далеком.

Евдокия Ивановна медленно опустила подойник на лавку. Молоко плеснуло через край, образовав на некрашеном деревянном полу белую лужицу, но она этого даже не заметила. Ее руки, привычные к вечной работе — то со скребком, то с ухватом, то с иглой — безвольно повисли вдоль тела. Она обвела взглядом горницу, словно видела ее впервые: низкий потолок, оклеенный старыми газетами, печь-голландка с облупившейся побелкой, ходики с кукушкой, которые отстали на десять минут еще вчера и так и не были заведены.

— Всех? — переспросила она севшим голосом.

— Всех, Дуня, — кивнул Иван Кузьмич, тяжело опускаясь на лавку у стола. — Садитесь. Разговор будет мужской.

В избе стало тихо-тихо, слышно было только, как за печью завожилась мышь да во дворе сонно квохнула курица.

Первой из-за перегородки выглянула Анастасия. В свои восемнадцать лет она двигалась плавно, по-кошачьи, но сейчас в ее глазах плескался испуг взрослой девушки, понимающей, что покой их девичьей светелки нарушен навсегда. За ней, сутулясь, чтобы не задеть головой притолоку, вышел Михаил. Он был копией отца — такие же широкие плечи и тяжелый взгляд исподлобья, только лицо еще не знало бритвы. Вслед за братом выскользнул Анатолий. Мальчик прижимал к груди потрепанную книгу Жюль Верна «Таинственный остров», пальцы его побелели от напряжения. Замыкала процессию пятилетняя Нина. Она терла кулачком заспанные глаза, смешно морщила носик-пуговку и зевала, широко открывая рот.

Они расселись вокруг большого дубового стола. Евдокия осталась стоять у печи, прислонившись плечом к теплому боку кирпича. Она смотрела на мужа выжидающе, требовательно.

Иван потер ладонями лицо, собираясь с духом. Запах дегтя от его рук смешивался с запахом свежего хлеба.

— Сегодня в Понебель вербовщик приезжал, — начал он глухо, глядя прямо перед собой, в стену. — С Дальнего Востока. Из самого Владивостока бумаги привез. Звал людей тайгу валить, землю подымать, золото мыть. Говорит, места там богатые. Леса — конца краю нет, земля жирная, черная, хоть картошку кидай — сама вырастет. Рыбы в реках столько, что руками бери. И работа есть для всякого, кто спину гнуть не боится. А здесь что? Сами знаете. Наделы наши курам на смех, межа на меже. Лес барский, корову пасти негде. Настьке жениха тут нет, Мишке ходу нет...

Евдокия Ивановна слушала, и внутри у нее все холодело. Она знала этот тон. Так муж говорил, когда принимал тяжелое, окончательное решение, которое уже невозможно отменить. Когда соглашался забивать кабана или продавать теленка вопреки ее слезам.

— Вань... — перебила она его, и голос ее дрогнул. — Ты это к чему ведешь-то?

— Я бумагу подписал, — выдохнул Иван, наконец посмотрев ей прямо в глаза. Взгляд его был тяжелым, виноватым, но твердым. — Через неделю еду. В Клинцах состав формируется.

Слово «еду» прозвучало как выстрел в тесной комнате. Евдокия пошатнулась, схватившись рукой за сердце. Лицо ее исказилось, губы затряслись.

— Бросаешь? — прошептала она, и шепот этот был страшнее любого крика. — Меня одну бросаешь? С четырьмя детьми? На кого хозяйство? Кто крышу латать будет, пока ты там по тайге своей бегать будешь? Вань, ты хочешь меня бросить одну с детьми?!

Она шагнула вперед, готовая вцепиться ему в ворот рубахи, выплеснуть всю свою бабью боль и страх перед одинокой зимой. Но Иван вскочил, перехватил ее руки своими жесткими, горячими ладонями и крепко сжал, не давая ударить.

— Дура! Что несешь?! — рявкнул он так, что подпрыгнули пустые чашки на столе. — Окстись! Как язык повернулся? Не брошу я вас, никогда не брошу! Мне без вас эта тайга даром не нужна! Поеду первым, потому что одному легче пристроиться! Найду угол, получу инструмент, заработаю подъемные. Напишу тебе сразу, как обустроюсь. Пришлю денег на билеты. Вы продадите всё — коня, птицу, сундук мой столярный. Весной, как подсохнет, сядете на поезд и приедете ко мне. К тому времени дом поставим!

Он говорил быстро, захлебываясь словами, пытаясь перекрыть ее ужас осязаемыми планами. Дети замерли, боясь дышать. Даже маленькая Нина перестала хныкать и огромными глазами смотрела на плачущую мать.

Евдокия Ивановна вырвала руки. Она больше не кричала. Она подошла к столу, тяжело оперлась о него кулаками и посмотрела на детей одного за другим. На бледную Настю, чьи шансы выйти замуж за местного тракториста таяли с каждым годом. На Михаила, которому через три года предстояло идти в армию — либо опять в эту же нищую деревню, либо на какую-нибудь стройку рядовым чернорабочим. На Анатолия с его книгой — умница мальчишка, но какая школа ждет его здесь, среди трех классов и вечно пьяного учителя? Только тяжкий крестьянский труд до седьмого пота.

Она перевела взгляд на Ивана. Его лицо осунулось и постарело лет на десять. Он не бежал от них. Она слишком хорошо знала своего Кузьму — если бы хотел уйти, ушел бы молча, ночью, оставив записку. Сейчас же он сидел сгорбленный, готовый принять любую ее ругань, лишь бы поняли.

— Там правда лучше может быть? — спросила она тихо, обращаясь уже не к мужу, а куда-то в пространство, заглядывая в будущее этой комнаты, где скоро станет непривычно просторно и пусто.

— Правда, Дуня, — так же тихо ответил Иван. — Ради них вот, — он кивнул на детей. — Чтобы они людьми стали, выучились. Чтоб хлеб не пополам с лебедой ели.

Евдокия долго молчала. Тиканье ходиков вдруг показалось оглушительным. Где-то в глубине души, задавленная ежедневной усталостью, жила мечта увидеть белый свет, поехать дальше соседней ярмарки. Сибирь, океан... Это звучало как сказка, пугающая, но манящая.

Она глубоко вздохнула, перекрестилась на темную икону Николая Чудотворца и расправила плечи.

— Ладно, Вань, — сказала она ровно, и слезы на ее щеках высохли, уступив место суровой решимости. — Езжай. Видит Бог, не хотела я такой доли, но раз решил... Мужик в доме голова, ему виднее путь держать. Поезжай с Богом. Я буду ждать письма. Каждого почтальона стану встречать у околицы. И мы приедем. Соберем манатки и приедем. Только пиши, Ваня. Слышишь? Не пропадай.

Иван Кузьмич поднялся из-за стола, обошел его и обнял жену. Прижал к себе сильно, до хруста в костях, зарылся лицом в ее пахнущие домом и молоком волосы. Он чувствовал, как дрожит ее спина, но знал — теперь она выдержит. Она всегда держала тыл.

За спиной тихонько, совсем по-взрослому, всхлипнула Анастасия. Положил тяжелую руку на плечо сыну Михаил, и тот впервые не дернулся, принимая отцовскую тяжесть. Ана-

толий крепче прижал книжку, понимая, что про таинственные острова придется забыть ради настоящей, дикой земли.

Лишь пятилетняя Нина ничего не поняла. Она просто подошла к отцу, дернула его за штанину и деловито спросила:

— Тять, а пряники там будут? Белые, с глазурью?

Иван посмотрел сверху вниз на дочь, улыбнулся сквозь стоящий в горле ком и погладил ее по льняным волосам:

— Будут, доченька. Там всё будет. Самые лучшие пряники куплю. Весь мешок.

## Глава 2. Эшелон

Прошла неделя, показавшаяся Ивану Кузьмичу Богачёву бесконечно долгой и одновременно промелькнувшей как один тяжелый вздох. Каждый из этих семи дней был наполнен глухим, сосущим под ложечкой страхом перед расставанием, который он прятал от домашних за привычной крестьянской работой. Он не спал ночами, ворочаясь на скрипучем сундуке, слушая ровное дыхание Дуни и сопение детей в соседней горнице.

За эту неделю деревня Понебель словно сжалась вокруг него, стала теснее и роднее. По утрам, когда над поймой реки еще стоял густой молочный туман, Иван брал топор и уходил в лес — рубить сухостой для прощального тепла. Дрова он колол с остервенением, вкладывая в каждый удар по звонкому комлю всю свою невысказанную тоску. Работа жгла руки до кровавых мозолей, но она же спасала разум от черных мыслей. Евдокия Ивановна двигалась по избе тихо, как тень. Она без лишних слов собрала ему узел: мешочек ржаных сухарей, кусок пожелтевшего сала, завернутый в чистую холстину, глиняную баклажку с колодезной водой и смену чистого исподнего. В самый последний вечер, когда дети уже уснули, а ходики мерно отстукивали секунды до разлуки, она достала со дна старого кованого сундука маленький потертый кисет.

— Это дедов, — прошептала она, протягивая его мужу. — На удачу возьми. И вот... — она вложила ему в нагрудный карман пиджака сложенный вчетверо лист бумаги, густо пахнущий воском и печным теплом. — Тут я тебе молитву Николаю Угоднику написала. Читай, Ваня, когда страшно станет.

Утро отъезда выдалось серым и холодным. Низкие облака цеплялись за верхушки старых берез. Провожать Ивана вышла вся семья. Евдокия стояла прямая, закутанная в темный шерстяной платок, только пальцы, сжимающие край шали, мелко дрожали. Анастасия плакала беззвучно, кусая губы, чтобы не разреветься в голос при людях. Михаил хмурился, глядя себе под ноги, и лишь крепче обычного стискивал кулаки. Анатолий прижимался к отцовскому боку, пряча лицо, а пятилетняя Нина крепко держала отца за штанину своей пухлой ладошкой.

— Ну, будет сырость разводить, — хрипло проговорил Иван, обнимая жену так, что у нее хрустнули ребра. — Я скоро напишу. Как устроюсь — сразу весточку пришлю. Слушай Мишку, он теперь мужик в доме. Настька, матери помогай, ты старшая. Толька, книгу береги. А ты, пигалица, — он присел на корточки перед младшей, взял ее круглое личико в свои огромные, пахнущие дегтем ладони. — Смотри тут за порядком. Папка вернется — спросит строго.

Он перекрестился на темные бревна родной избы, поклонился ей в пояс, коснувшись рукой пыльного порога, и пошел прочь, не оглядываясь. Оглядываться было нельзя — старая примета гласила, что если посмотреть назад с полпути, дороги не будет.

Станция Клинцы встретила его гулом сотен голосов, запахом креозота, мокрого угля и человеческого пота. После тишины вымершей деревни этот шум оглушал. Деревянные настилы перрона раскисли от многодневных дождей, превратившись в вязкую кашу из опилок, угольной крошки и рыжей глины. Под ногами чавкало и хлюпало. Над всей этой суетой висело низкое свинцовое небо, грозящее пролиться новым ливнем. Люди толпились повсюду: сидели на

своих узлах прямо в грязи, курили едкий самосад, переругивались с носильщиками, кричали плачущие младенцы, где-то вдали надрывно лаяла собака. Казалось, что сюда согнали половину разоренной черноземной полосы СССР. Мужики были такие же, как Иван — широкоплечие, мосластые, с тяжелыми взглядами людей, навсегда отрывающих себя от земли ради призрачного золотого песка Дальстроя.

Иван пробивался сквозь плотную, пахнущую махоркой и щами толпу, высматривая знакомую парусиновую куртку агитатора. Тот нашелся у забора пакгауза, окруженный плотной стеной желающих уехать. Его светлый костюм был безнадежно заляпан грязью до колен, но голос звучал все так же властно:

— Гражданин, вам куда?! Документы! Быстрее очередь задерживаете!

Иван подошел вплотную, чувствуя, как сердце тяжело бухает о ребра.

— Здравствуйте, товарищ, — негромко сказал он, перекрикивая вокзальный гам.

Вербовщик скользнул по нему усталым, профессиональным взглядом бывалых кадровиков, способных с одного взгляда определить годность человека к тяжелой работе.

— Добрый день, — бросил он, даже не повернув головы, продолжая делать пометки в замусоленном журнале химическим карандашом. — Вы с какой деревни? Быстро спросил он.

— Из Понебели, Клинцовского района, — ответил Иван, протягивая свой паспорт-«серпастый молоткастый».

— Хорошо, — кивнул вербовщик, быстро сверяя фамилию. — Богачёв... Богачёв... Так, есть такой. Но у нас накладка вышла, земляк, — он поднял наконец глаза. Взгляд его стал жестким. — Во Владивосток эшелон укомплектован полностью, мест нет. Вас перебрасывают. Будете работать в Амурской области. Там сейчас лесной фронт разворачивают, народу катастрофически не хватает, валить вековую тайгу некому. Так что во Владивосток вы не едете.

Слово «Владивосток» отзывалось в душе Ивана сладким обещанием океана и новой жизни, поэтому новость кольнула разочарованием. Но вслух он этого не показал. Жизнь научила его принимать приказы судьбы ровно.

— Хорошо, — просто кивнул Иван. — Лес так лес. А там куда конкретно?

— Деревня Ядрино, Архаринский район, — отчеканил вербовщик, ловко выхватывая из планшетки чистый бланк путевки. — Бывший казачий хутор. Сейчас там база леспромхоза организуется. Нужны крепкие руки. Топором владеете?

— Крестьянин я, — чуть обиделся Иван. — Мне топор вместо ложки с детства дан.

— Отлично, — вербовщик удовлетворенно улыбнулся краешком губ, ставя жирный фиолетовый штамп поверх фамилии. — Вот ваша накладная. Пятый вагон садись. Вагоны-теплушки, оборудованные двухъярусными нарами. Держи бумажку, — он сунул Ивану в руку мятый квиток. — Смотри не потеряй, добавил он сурово. — Вторую выписку никто делать не будет. Потеряешь — останешься куковать на перроне. Доедете до станции Архара, там вас представители комбината встретят. Вопросы есть?

— Нет вопросов, — мотнул головой Иван.

— Тогда с Богом. Отправление через двадцать минут. Не курить внутри, нужник в конце вагона, ведро стоит. Сухари свои экономьте, кипяток на станциях брать можно.

Иван отошел от стола, бережно пряча драгоценную бумажку за пазуху, ближе к нателю кресту. Найти нужный состав среди десятков других оказалось непросто. Наконец он увидел длинный ряд товарных вагонов с маленькими зарешеченными окошками под самой крышей. На пятом мелом была криво выведена цифра «5».

Дверь теплушки была откатана. Внутри царил полумрак, пахнувший прелой соломой, ржавым железом и чужим дыханием. На нижних нарах уже лежали чьи-то узлы, кто-то негромко переговаривался в углу. Иван забросил внутрь свой фанерный чемоданчик, подтянулся на руках и влез следом. Пол вагона ощутимо качнулся под его весом. Он прошел вглубь, сел на голые доски нар, положив рядом топор. За спиной остался лязг сцепок и гомон провожающих.

Раздался протяжный, тоскливый гудок паровоза, переходящий в свист пара. Состав дернулся сначала назад, потом вперед, колеса жалобно взвизгнули, проверяя рельсы, и медленно, неотвратимо начали вращаться. Станция Клинцы поплыла мимо мутным пятном. Иван смотрел, как исчезают за поворотом кирпичные водокачки, семафоры и бесконечные штабеля шпал.

Поезд тронулся, увозя его на Восток. Грохот колес на стыках становился все громче, отсчитывая километры между прошлой жизнью и неизвестностью. Теперь впереди были только тысячи верст стальной магистрали, ревушая тайга и далекая, пока еще чужая река Амур.

Состав набирал ход, мерно отстукивая ритм по стальным нитям Транссибирской магистрали. За маленьким зарешеченным окошком под потолком теплушки замелькали огни первой крупной станции. Брянск остался далеко позади, растворившись в серой дымке сентябрьского утра еще три дня назад. Иван Кузьмич сидел на своих нижних нарах, привалившись спиной к шершавому ребру жесткости вагона, и переводил взгляд от станции к станции — Орел, Курск, Воронеж... Названия городов звучали для него как имена чужих, далеких людей. Так далеко он не ездил еще никогда за свои сорок два года; пределом его мира всегда был уездный город Клинцы да шумная ярмарка в Почепе.

Тоска по дому, детям и жене свербели внутри, в самом сердце, тяжело и глухо, словно тупая заноза, которую невозможно вытащить. Днем этот ком удавалось забивать разговорами с попутчиками, бесконечным лузганьем семечек или сном, но ночами тоска брала свое. В темноте, слушая храп десятков мужиков, скрип деревянных нар и монотонный лязг буферов, Иван думал о семье. Он представлял Евдокию: как она сейчас стоит у печи, греет озябшие руки о теплый бок кирпича и смотрит невидящим взглядом в темное окно, прислушиваясь к вою ветра в трубе. Вспоминал Настю — ее тяжелые русые косы, которые мать наверняка уже туго заплела перед школой, чтобы волосы не мешали доить корову. Михаила — тот наверняка взвалил на плечи отцовскую работу, молча колет дрова, стараясь казаться взрослым. Анатолия с его книжкой Жюль Верна, который теперь читает при свете тусклой керосиновой лампы вместо солнца. И маленькую Нину, которая каждое утро спрашивает про отца, смешно морщит свой носик-пуговку и ждет пряников.

Чтобы разогнать эту свинцовую тяжесть в груди, Иван начинал строить планы. Думал о том, как построит дом. Не такую развалюху, как в Понебели, а настоящий пятистенник из кондовой лиственницы, высокий, светлый, с большими окнами на восход. Обязательно будет большой огород, соток на тридцать, распаханый трактором, если дадут. Заведут новую корову — пеструю, удойную, назовем Зорькой. А там, глядишь, подкопят денег, выпишут через Дальстрой швейную машинку «Зингер» для Дуни и отдадут Тольку в настоящую десятилетку, станут инженером или учителем. Мысли эти текли плавно, обволакивали разум спасительной надеждой. И все будет хорошо, твердил себе Иван, засыпая под перестук колес. Ради этого стоило терпеть духоту, запах нестиранных портянок и железную миску баланды на полустанках.

За окном тем временем менялась сама земля. После Урала бескрайняя тайга поглотила степи. Деревья стояли плотной, неприступной стеной — вековые кедры, ели и лиственницы уходили кронами прямо в низкие облака. Горы сменяли равнины, сопки тянулись одна за другой, похожие на застывшие зеленые волны древнего моря. Когда эшелон замедлил ход на берегу Байкала, вагон притих. Мужики прильнули к щелям в стенах, глядя на свинцовую, тяжелую воду самого большого озера в мире. Оно дышало холодом даже сквозь толстое дерево вагона. Страна была огромная, непостижимая умом простого брянского крестьянина, и от осознания этой безграничности Ивану становилось одновременно страшно и легко. Его прежняя жизнь, полная межевых споров за клочок земли, показалась отсюда крошечной песчинкой.

Он ехал и ехал. Прошла уже неделя пути. Сухари давно закончились, уступив место пайковому хлебу, который выдавали на редких остановках сердитые люди в форме ВОХР. Сменное белье пахло сыростью, щетина превратилась в жесткую седоватую бороду. Сосед по нарам,

словоохотливый татарин из-под Казани, сказал однажды вечером, подбрасывая щепу в буржуйку:

— Еще неделю ехать, брат. До самой Читы пилить будем, потом вниз, на Амур свернем. Тайга-матушка длинная.

Прошло две недели. Время потеряло счет, превратившись в череду одинаковых рассветов над шпалами. Состав миновал Белогорск, оставив позади последние островки привычной цивилизации. Вагоны загнали на боковой путь, где паровоз долго и натужно заправлялся водой из колонки. Воздух здесь стал другим — резким, хвойным, пьянящим после спертой духоты теплушки.

Иван Кузьмич подъезжал к деревне Ядрино Амурской области. Поезд дернулся в последний раз и замер со скрежетом, окутанный облаком белого пара. Раздался хриплый крик кондуктора:

— Конечная! Выгружаемся!

Иван надел свою телогрейку, взял фанерный чемоданчик и тяжелый колун. Спрыгнул с высокой подножки на гравийную насыпь. Ноги, отвыкшие от твердой опоры, едва не подогнулись.

Кругом стоял лес. Могучие амурские сопки, покрытые густым ковром осенней тайги, окружали узкую долину со всех сторон, зажимая ее в каменные тиски. Прямо у путей стояло всего ничего домов — десяток почерневших от времени бревенчатых изб с высокими завалинками да несколько длинных свежесрубленных барачков без крыш, зияющих пустыми оконными проемами. Людей почти не было видно, только ветер гонял по единственной улице рыжую пыль пополам с сухой хвоей. Но воздух был чистый и свежий. Он ударил в голову сильнее любого самогона после двух недель угольной гари. Иван глубоко вдохнул, расправляя легкие. Пахло свежестью — мокрой землей после недавнего дождя, прелой листвой, горьковатой сосновой смолой и чем-то еще, диким и первобытным, чего нет в обжитой России. Это был запах абсолютной свободы и такой же абсолютной, звенящей пустоты.

Где-то вдали, перекрывая шум остывающего паровоза, протяжно и одиноко закричала птица. Эхо заметалось между сопками и медленно затихло. Иван поправил шапку, поднял воротник и пошел искать вербовщика, оставляя четкие следы своих тяжелых сапог на влажной земле нового дома.

### Глава 3. Ядрино

Лесхоз встретил Ивана Кузьмича не грохотом пил и ревом моторов, а густой, звенящей тишиной, которую лишь изредка нарушал далекий перестук дятла. Утренний туман, поднявшийся от реки Хинган, еще цеплялся за верхушки вековых лиственниц, опоясывающих территорию базы белой кисеей. Воздух здесь был иным — тяжелым, настоящим на запахах прелой хвои, мокрой коры и свежей сосновой смолы, которой пахло так густо, что этот дух, казалось, можно было резать топором.

База леспромхоза раскинулась в узкой долине между двумя сопками. Это была еще не деревня, а скорее временный военный лагерь посреди тайги: ряды длинных дощатых барачков с односкатными крышами, коновязь у колодца, покосившаяся вышка-наблюдатель для охраны лесного массива да несколько рубленых изб понадежнее, стоявших особняком. Земля под ногами была плотно утрамбована тысячами сапог и перемешана с рыжей глиной; после ночного дождя она чавкала жирной грязью, пытаясь стянуть тяжелые ботинки. Иван поправил ляжку фанерного чемоданчика, перехватил удобнее колун, который решил пока не выпускать из рук, и направился к самому большому зданию с вывеской «Контора лесхоза».

Внутри пахло сухим теплом, махорочным дымом и канцелярским клеем. Вдоль стен стояли простые деревянные скамьи, на которых сидело с десяток таких же, как он, новопри-

бывших мужиков — помятых со сна, угрюмых, прижимающих к груди свои папки с документами. За массивным столом мореного дуба, заваленным стопками бумаг, амбарными книгами и пустыми кружками из-под чая, сидел начальник лесхоза товарищ Соколовский.

Это был человек-глыба лет пятидесяти, абсолютно лысый, если не считать жесткого венчика седых волос на затылке. Его лицо, кирпичного цвета и исполосованное глубокими морщинами, напоминало старую кору того самого дерева, которое он отправлял под пилы. Пустой левый рукав гимнастерки был аккуратно заправлен за широкий кожаный ремень. Он поднял на Ивана тяжелый, свинцовый взгляд из-под набрякших век, привыкший смотреть не в глаза собеседнику, а сквозь него — сразу в его трудовую книжку.

— Здорово были, — глухо произнес Иван Кузьмич, останавливаясь в трех шагах от стола и неловко переминаясь с ноги на ногу.

Соколовский молча кивнул в ответ и протянул правую руку через стол. Это было крепкое, сухое рукопожатие начальника, чья ладонь знала только черенок лопаты и сталь оружия. Ладонь была жесткой, как дубовая доска, и горячее. Не отпуская руки Ивана, Соколовский чуть дернул ее на себя, проверяя прочность плеча нового работника.

— Ну что, давай бумагу, посмотрю, откуда ты и куда тебя определим, — буркнул он, наконец разжимая пальцы.

Иван достал из-за пазухи мятый квиток вербовщика, бережно разглаживая его загрубевшим пальцем на столешнице. Начальник надел очки в тонкой металлической оправе, низко склонился над документом. В конторе повисла такая тишина, что стало слышно, как за стеной тяжело вздыхает лошадь. Соколовский быстро пробежал глазами текст, задержался взглядом на графе «специальность», удовлетворенно хмыкнул себе под нос и бросил бумагу обратно на стол.

— Механик-колхозник, значит, — констатировал он без вопросительной интонации. — Иди оформляйся. — Он ткнул коротким, узловатым пальцем в сторону двери в дальнем конце коридора. — Административный блок. Третья дверь справа. Скажешь, я направил.

Иван козырнул, забрал путевку и вышел. Коридор конторы пах хлоркой и сырой штукатуркой. Стены были обшиты свежими, еще сочащимися смолой досками, которые отчаянно пытались удержать тепло внутри промерзшего здания. Он прошел в административный блок. Комната оказалась маленькой и тесной, сплошь заставленной высокими стеллажами с личными делами. Под потолком висела одинокая лампочка без абажура, заливая пространство желтым светом, в котором плясали пылинки.

За единственным столом, застеленным порывевшей газетой «Амурская правда», сидел секретарь лесхоза Алексей. Это был совсем молодой парень, едва ли старше двадцати лет, с бледным лицом городского жителя и вьевшимися под ногти чернилами. Перед ним стояла огромная чернильница-непроливайка, а в руках он нервно крутил перьевую ручку.

— Здравствуй, сынок, — мягко сказал Иван, подходя ближе.

Алексей вздрогнул от звука его голоса, словно очнувшись от глубокой задумчивости, и поднял голову. Увидев перед собой рослого, заросшего черной щетиной мужчину с мозолистыми руками, он тут же подобрался, принимая официальный вид.

— Оформляться? — деловито спросил секретарь, подвигая к себе чистый бланк.

— Да, — кивнул Иван и положил поверх бланка свои документы.

Алексей ловко пролистал паспорт-«серпастый-молоткастый» и потрепанную путевку. Макнул перо в чернила, брызнул пару капель на газету, беззвучно выругался и начал быстро, почти каллиграфически выводить буквы фиолетовыми чернилами. Скрип пера казался в этой тишине оглушительным.

— Хорошо, — наконец сказал он, промокнув подпись пресс-папье. — В третьем отряде будешь работать. Валка леса. Инструменты получишь на складе вечером.

— Хорошо, — эхом отозвался Иван. Внутри все сжалось привычным холодком предчувствия тяжелой работы, но выбора уже не было.

Он уже собирался забрать бумаги, повернуться и уйти обживать свой новый мир, как вдруг какая-то внутренняя пружина, та самая крестьянская жилка, которая всегда требовала заглядывать дальше завтрашнего дня, заставила его остановиться. Вопрос назревал всю дорогу, пока он трясся в теплушке, глядя на проносящиеся мимо телеграфные столбы. Одно дело — приехать валить тайгу ради пайка, и совсем другое — привезти сюда семью.

— Слышь, мил человек, — кашлянув в кулак, снова обратился он к секретарю. Голос его стал тише, доверительнее. — Не подскажешь, куда меня заселят временно? И... можно ли будет получить здесь землю? Чтоб дом поставить. Своими руками.

Алексей перестал писать. Он отложил ручку, снял очки, потер переносицу и впервые посмотрел на Ивана не как на строчку в ведомости, а как на живого человека. На его лице мелькнула усталая усмешка — усмешка старожила при виде новичка с горящими глазами.

— Заселим тебя пока в общежитие лесхоза, — ответил он буднично, указывая ручкой на окно. — Барак номер четыре, это прямо за конторой, там где белье на веревках висит. Койка свободная есть, матрасовку и одеяло каптер выдаст. Печку сам топить будешь, дрова сами пилим. А вот насчет земли... — он вздохнул, возвращая очки на нос. — Землю тебе лучше в сельсовете спросить. Тут, километр выше по течению, поселок Ядрино строится, там сельсовет сидит. Но учти, Кузьмич: сейчас земля идет строго под производственные нужды комбината. Тайга вокруг государственная, фонд лесной. Чтобы участок под застройку выбить, нужно либо бригаду собрать, чтобы план перевыполняли, либо ходатайство от начальства иметь. Просто так кусок тайги никто не выпишет. Сначала отработай, докажи, что приехал навсегда, а потом уж проси.

— Понял, — коротко ответил Иван Кузьмич. Слово упало тяжело, как камень.

Значит, первым делом — барак. Доски, чужие храпы, общая параша в углу и вечный запах кирзы. Значит, сначала придется доказывать свое право дышать этим воздухом не словом, а кубометрами сваленного леса. Он поблагодарил секретаря, забрал подписанный приказ о зачислении и вышел на крыльцо.

Солнце наконец прорвалось сквозь утреннюю мглу, залил долину резким, холодным светом. Тени от лиственниц стали короткими и черными. Где-то в глубине леса, перекрывая шум ветра, протяжно и тоскливо закуковала невидимая кукушка. Иван глубоко вдохнул, чувствуя, как морозный воздух царапает легкие, расправил плечи, забросил чемоданчик на другое плечо и пошел искать четвертый барак. Начиналась новая жизнь, и начиналась она с общих нар. Текст написан на основе предоставленного фрагмента документа (стр. 1–10) и ваших вводных данных для продолжения сюжета.

#### Глава 4. Дыхание тайги

Два месяца промелькнули для Ивана Кузьмича Богачёва как один долгий, изматывающий день, наполненный звоном стали о мерзлое дерево и тяжелым дыханием мороза. Он работал исправно, на совесть, вгрызаясь топором в вековую лиственницу Амурской тайги. Его широкие плечи привыкли к ляжке саней-волокуш, а руки огрубели еще сильнее, став похожими на кору тех самых деревьев, что он валил. В бригаде его уважали за молчаливую выносливость: там, где другие сдавали к полудню, Иван продолжал мерно бить обухом по клинью, пока ствол с треском не начинал крениться.

В середине декабря, когда сугробы намело под самые окна барачков, а воздух стал таким колким, что обжигал ноздри при вдохе, Иван получил выходной. Сменив тяжелые ватные штаны на относительно чистые галифе, он отправился в сельсовет деревни Ядрино — низкое бревенчатое здание с высоким крыльцом, заваленным снегом по самую вторую ступеньку.

Внутри пахло керосином, мокрыми валенками и сургучом. За столом сидел председатель — пожилой мужчина с лицом, иссеченным красными прожилками от вечного холода.

— По делу я, товарищ председатель, — прогудел Иван, переминаясь у порога. — Насчет земли пришел узнать. Обещали ведь участки под застройку давать тем, кто насовсем приехал.

Председатель долго молчал, перебирая костяшками пальцев пустые чернильницы, затем тяжело вздохнул, выдохнув облачко пара.

— Земля будет, Богачёв. Не сомневайся. Лично твой надел утвердили. Но сам понимать должен — война с финнами идёт, лес стране нужен позарез. Все свободные руки сейчас на делянках. Так что жди. Полгода сроку даю, максимум к июню получишь свои бумаги. Стройся.

Иван вышел на улицу, глубоко вдыхая морозный воздух. Шесть месяцев. Это казалось ему целой вечностью, спасительным берегом после бури. Мысль о том, что через полгода здесь, среди этой дикости, появится законный кусок его собственной земли, грела лучше любой фуфайки. Он представил этот участок: высокий, сухой, на взгорке, чтобы талая вода не подмывала фундамент. Представил, как сладит дом-пятистенник из кондовой сосны, проконопатит стены мхом, сложит большую русскую печь. И тогда напишет Дуняше. Она продаст остатки добра в Понебели, возьмет детей — Настю, Михаила, Анатолия, маленькую Нину — и приедет. Они войдут в новый дом, пахнущий свежим деревом и смолой, и начнется наконец настоящая жизнь, ради которой он оставил родные могилы.

Наступил январь 1940 года. Зима в Приамурье выдалась лютой, злее брянской во сто крат. Термометры, если они и были, давно зашкаливали за минус сорок. Небо висело низко, свинцовое и тяжелое, едва пропуская тусклый свет короткого дня. Тайга стояла мертвая, скованная стужей; деревья трещали от внутреннего напряжения так громко, что звук напоминал винтовочные выстрелы.

Именно в такой день, когда туман от дыхания мгновенно замерзал на бровях ледяной коркой, бригаду погнали прорубать просеку в самом глухом распадке. Ветер гулял между сопками, пронизывая старые телогрейки до костей. Иван рубил зло, торопясь согреться движением. Пот заливал глаза, смешиваясь со слезами от ветра, стекал горячими ручьями по шее, тут же превращаясь в липкий лед под воротником. Остановившись перевести дух, он жадно хватанул ртом воздух. Воздух был острым, как битое стекло.

К вечеру в груди появился странный свист. Сначала слабый, потом все громче, словно внутри поселился маленький грызун, пытающийся выбраться наружу. К ночи начался жар. Простуда навалилась внезапно и беспощадно. Барак номер четыре трясся от порывов ветра, сквозь щели в рассохшихся досках пола тянуло ледяным сквозняком от вечно настезь открытой двери общего нужника. Соседи по нарам — такие же черные от копоти и усталости мужики — храпели густым, спертым воздухом, воняющим прелыми портянками и махорочным перегаром.

Болезнь терзала Ивана две недели. Первые дни он лежал пластом, проваливаясь в горячечный бред. Ему снилось родное болото в Понебели, запах скошенной травы и голос Евдокии, которая почему-то ругалась на него за то, что он забыл закрыть заслонку в печи. Он метался на узких нарах, сбивая ветхое солдатское одеяло, кашлял так надрывно, что темнело в глазах, а каждый вдох отдавался тупой болью в ребрах. Товарищи по бараку выходили курить на улицу, зажимая нос от тяжелого запаха болезни. Молодой фельдшер из медпункта приходил через день, приносил горький порошок аспирина, разводил его в кружке с кипятком и строго качал головой:

— Легкие застудил ты, Кузьмич, капитально. Бронхит жестокий. Лежать надо, а ты прешь на работу, геройствуешь. Вот допрыгался.

На исходе второй недели температура спала. Жар отступил, оставив после себя лишь бесконечную слабость, такую глубокую, что поднять руку казалось непосильным трудом. Иван

открыл глаза. Потолок барака плыл перед глазами. Он попытался встать, чтобы дойти до общей умывальни, сделал два шага, и вдруг горло сжало невидимой стальной удавкой.

Он схватился за шею, пытаясь разжать пальцы паники, судорожно втянул воздух, но легкие отказались подчиняться. Вместо глубокого вдоха грудь исторгла лишь жалкий, сипящий хрип. Перед глазами поплыли красные круги. Мир сузился до одной точки — острой нехватки кислорода. Казалось, сама тайга давила на грудную клетку всей своей многотонной массой. Кто-то из соседей успел подскочить, плеснуть ему в лицо ледяной воды из ведра. Удушье медленно отпустило, сменившись дрожью во всем теле и холодным, липким потом.

С того дня жизнь Ивана Кузьмича разделилась на «до» и «после». Болезнь ушла, забрав с собой часть его богатырского здоровья, но оставила взамен страшный подарок — астму. Теперь каждая затяжка ледяного амурского воздуха была для него испытанием. Свистящее дыхание стало его постоянным спутником. Любая простуда, любая сырость или резкий запах дыма грозили новым приступом удушья.

Начальник аптеки, пожилая женщина с суровым лицом, выдала ему жестяную коробку с драгоценным запасом теофедрина.

— Три раза в день, строго после еды, — отрезала она, глядя в ведомость. — Закончится — новую партию привезут только весной, с первым обозом. Растягивай.

Теперь карман его старой гимнастерки всегда оттягивала эта коробка. Таблетки стали дороже хлеба. Утро начиналось не с мысли о работе, а с крошечного белого диска на языке, который нужно было ждать, пока он растворится, возвращая легким способность дышать. Приступы теперь могли накрыть его прямо посреди смены. Однажды, замахнувшись колуном, он почувствовал знакомый спазм, выпустил рукоять и осел прямо в глубокий пушистый снег, судорожно шаря рукой по груди в поисках спасительной коробки, пока бригадир тряс его за плечо.

Шестимесячное ожидание земли больше не казалось спасением. Оно превратилось в пытку. Иван смотрел на календарь, нацарапанный гвоздем на стене барака, и понимал ужасную правду: шесть месяцев в этих условиях означают тысячи кубометров сваленного леса, сотни бессонных ночей в ледяных бараках и десятки новых приступов. Его тело, инструмент, которым он собирался строить дом для семьи, начало предавать его. Дом казался дальше, чем луна. А таблетки в кармане тихонько пересыпались при каждом шаге, отсчитывая время его угасающей жизни вдали от родных глаз.

## Глава 5. Ядринец

Март 1940 года пришел в Амурскую область не звонкой каплей, как на Брянщине, а тяжелым, влажным дыханием гниющей зимы. Снег осел, почернел от копоти и дорожной пыли, превратившись в ноздреватый ледяной панцирь, который днем подтаивал, а к ночи схватывался такой твердой коркой, что выдерживал вес лошади. Воздух стал густым, пахнущим прелой хвоей, талой водой и пронзительной сыростью.

В конторе лесхоза было непривычнолюдно и шумно. Мужики из бригады Ивана Кузьмича сгрудились вокруг старого картонного репродуктора «Рекорд», висевшего над столом учетчика. Сквозь треск статических разрядов и шипение эфира пробивался торжественный баритон московского диктора. Война с Финляндией закончилась. В голосе звучала усталость долгого месяца, но сквозь нее проступало нескрываемое облегчение всей огромной страны.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.